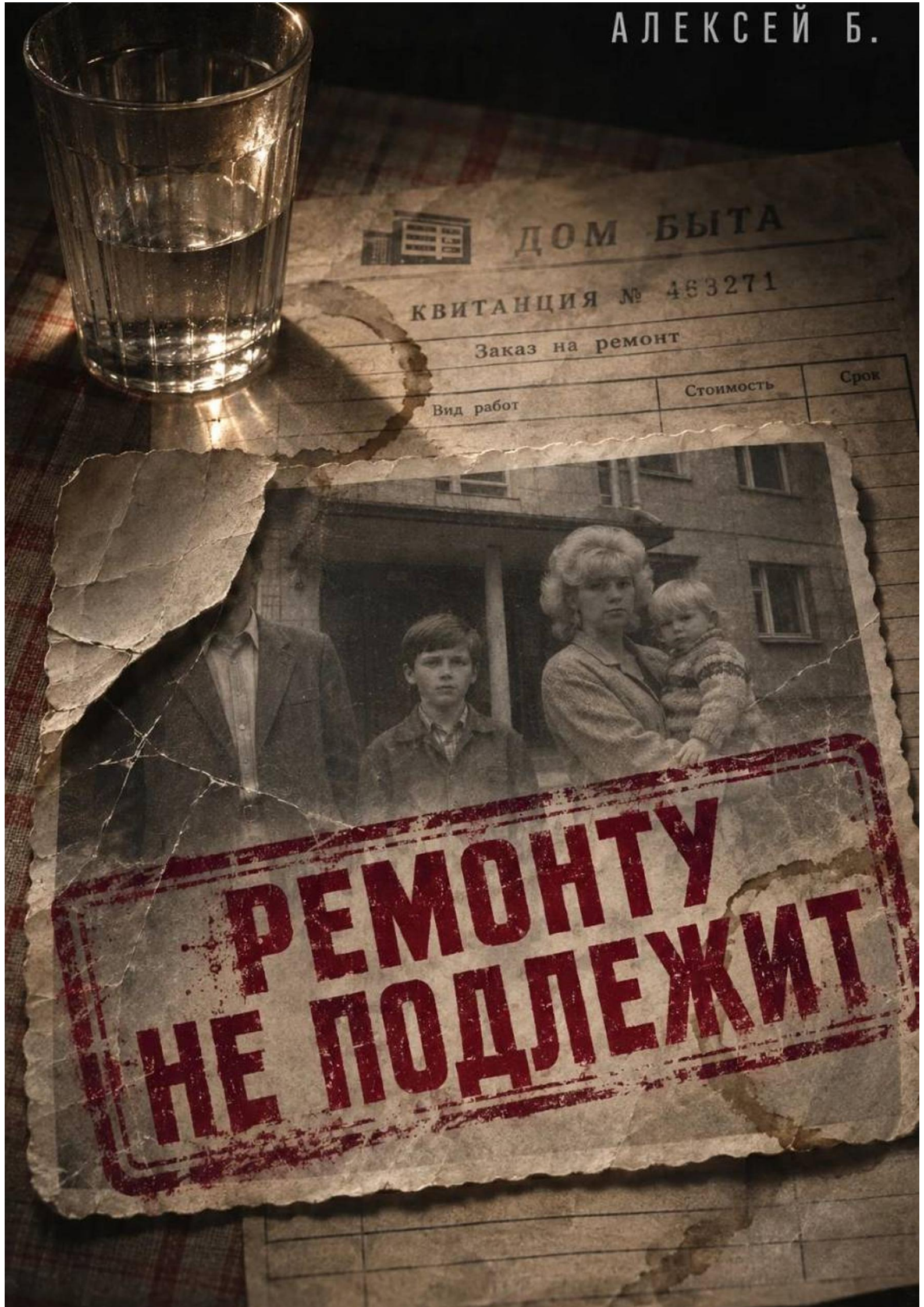
АЛЕКСЕЙ Б.



РЕМОНТУ НЕ ПОДЛЕЖИТ

Алексей Бебутян

Ремонту не подлежит

«Автор»
2026

Бебутян А.

Ремонту не подлежит / А. Бебутян — «Автор», 2026

Он может починить всё. Стиральную машину, телевизор, утюг, чужую жизнь.Только не свою.1993 год. Москва горит в прямом эфире. В маленьком городе закрывается дверь кабинета. Десять минут.Потом будут суд, армия, тюрьма, похороны. Деньги, которые трижды превратятся в бумагу. Сёстры, которые сорок лет обходят друг друга на рынке. Сын, который не берёт трубку.И один листок бумаги, о котором все молчат.Здесь нет злодеев. Каждый делал то, что мог. И каждый заплатил.

© Бебутян А., 2026
© Автор, 2026

Алексей Бебутян
Ремонту не подлежит

Глава 1

Глава 1. Ноябрь 2023
СУББОТА, 18 НОЯБРЯ, 13:10 — НИНА

Столы в кафе «Встреча» составили буквой «Т», хотя Нина просила «П». Буквой «П» стояли столы на поминках по матери, в девяностом, во дворе на Садовой, под орехом, и Нина хотела, чтобы у Галины было так же. Не из любви, а порядка.

Администратор, девушка лет двадцати, сказала, не отрываясь от телефона, что букву «П» у них ставят, когда собирается не меньше двадцати восьми человек, а столько народу вряд ли придёт. Нина спросила, откуда ей знать. Девушка пожала плечами. Заказали на двадцать два.

Когда расселись, Нина посчитала по головам, и вышло девятнадцать, вместе с ней и Серёжей. Администратор оказалась права, и это Нине не понравилось. Три лишние порции она решила забрать домой и попросила контейнеры сразу, пока девушка снова не уткнулась в телефон.

Считать Нина умела и любила. Тридцать один год она просидела паспортисткой в ЖЭУ, и через её стол прошёл весь Красный Яр: кто где прописан, кто откуда выписан, кто кому кем приходится. Не по словам, а по бумагам. Словам Нина не верила с юности. Правдой было то, что записано, подписано и заверено печатью. Поэтому дома в серванте, за рюмками, у неё стояли три картонные папки, подписанные аккуратным почерком: «Квитанции», «Документы», «Садовая». Третья была самая толстая.

Обед стоил девятьсот пятьдесят рублей с человека. Серёжа приложил телефон к терминалу, даже не посмотрев на сумму. Нина видела это из-за стола и не удивилась. Ещё на кладбище она услышала, как он говорил с кем-то про задаток и покупателя из Воронежа. Про дом он не сказал ни слова, но Нина сразу поняла, о каком доме речь.

Дом был родительский, на Садовой, с голубыми наличниками, которые отец красил каждую весну, пока был жив. В девяностом году, после похорон матери, Галина осталась в нём жить. Последние два года она ухаживала за матерью, стирала, готовила, выносила судно и считала, что дом теперь по праву её.

Нина считала иначе тридцать три года.

Она писала в БТИ, в районный суд, в областную газету и один раз, в девяносто восьмом, Ельцину. Ельцин не ответил, газета не напечатала, а суд отказал. Нина пропустила положенные полгода, потому что ждала, когда Галина сама предложит разделить дом. Галина не предложила. Потом Нина не смогла доказать, что приняла наследство, и дом остался сестре.

Встречая Нину на рынке, Галина здоровалась с такой вежливостью, что лучше бы прошла мимо.

В две тысячи девятом Галина составила завещание на Серёжу. Нина узнала об этом раньше самого Серёжи. Нотариус в Красном Яре была одна, а её мать двадцать лет просидела с Ниной в одном кабинете. Никто никого ни о чём не расспрашивал. Просто однажды бывшая сослуживица сказала Нине, чтобы та больше не рассчитывала на Садовую.

Нина и не рассчитывала. Во всяком случае, так она ответила.

Теперь Галины не было, дом по завещанию доставался Серёже, и спорить стало не с кем. Папку «Садовая» можно было выбросить. Нина с утра несколько раз об этом подумала и всякий раз удивлялась, что легче ей не становится. Выбрасывать папку она не станет. Это Нина знала про себя заранее.

Серёжа сидел во главе стола и не снимал куртки. На кладбище он тоже стоял в ней, расстёгнутой, с телефоном в руке. Когда батюшка обходил гроб с кадилом, Серёжа отступал на шаг, будто дым мешал ему читать.

Галина родила его в двадцать пять, от физрука, который через год уехал в Липецк, и растила так, как растят единственное: не давала ни подмести, ни подраться, ни ошибиться. В детстве он редко выходил за калитку один. Когда подрос и стал ходить с мальчишками на речку, Галина стояла у окна, пока не возвращался. Потом Серёжа уехал учиться в Воронеж, устроился там на работу и остался.

По воскресеньям, ровно в семь, он звонил матери. Однажды Галина похвасталась соседке, что сын проговорил с ней одиннадцать минут. Соседка пересказала это Нине, и это было единственное, за что она Галину жалела.

У могилы, когда все уже потянулись к автобусу, к Серёже подошла незнакомая Нине женщина в сером пуховике. Он отдал ей конверт, она что-то сказала, и Серёжа вдруг взял её руку в обе свои. Стоял так довольно долго, глядя куда-то поверх её плеча. Женщина свободной рукой поправила воротник пуховика и ничего не говорила.

У автобуса Тоня Белова, которая всегда всё знала, объяснила Нине, что это сиделка. Серёжа нанял её Галине ещё в сентябре, приезжал познакомиться, а потом каждую неделю переводил деньги из Воронежа. Когда Галине стало совсем плохо, сиделка оставалась ночевать.

Нина не знала, что Галине понадобилась чужая помощь.

— И сколько она брала? — спросила Нина.

Тоня назвала цифру и полезла в автобус.

Нина хотела сказать, что ходила бы к сестре и бесплатно. Не сказала: Тоня бы не поверила. Нина и сама была в этом не очень уверена.

Люду Нина увидела ещё на кладбище. Та стояла поодаль, у чужой оградки, в светлом пальто, которое на похоронах было не к месту. Волосы у неё были всё такие же белые, крашеные, как в восьмидесятые. Только теперь под ними была шестидесятивосьмилетняя голова, и выглядело это так, будто на старуху надели парик с дискотеки.

Нина отметила это без злорадства, просто как факт, и отвернулась.

Подходить она не стала. Первой тогда, в семьдесят пятом, промолчала Люда, и Нина считала, что очередь заговорить до сих пор за ней.

Из-за чего они поссорились, Нина помнила плохо. То ли из-за платья, которое Люда взяла без спросу на танцы и порвала, перелезая через забор клуба. То ли из-за тракториста из соседнего колхоза, имени которого Нина не вспомнила бы и под присягой. Мать что-то сказала при всех, Люда хлопнула дверью, Галина встала на её сторону, как вставала всегда.

Потом причина стёрлась, а молчание осталось. За сорок восемь лет к нему привыкли так, как привыкают к сломанной ступеньке: перешагивают не глядя.

Платье, между прочим, было Нинино. Это она помнила точно: синее, с белым воротничком, гэдээровское, мать отстояла за ним очередь в Воронеже. Лицо тракториста забылось, слова матери забылись, а воротничок нет. Платье Нина потом зашила и проносила ещё два лета.

Шов шёл через всю спину.

В кафе Люда вошла последней. Нина как раз повесила пальто на крючок у входа, зацепив за воротник, и Люда остановилась у неё за спиной.

— Нин, у тебя петелька оторвалась.

— Знаю, — сказала Нина.

Она не знала.

Люда своё пальто снимать не стала и пошла к столу. Нина осталась у вешалки. Петелька действительно оторвалась с одного конца и болталась на подкладке. Нина потрогала её пальцем, потом сняла пальто с крючка и повесила снова, точно так же, за воротник.

Люда сказала пять слов, если считать имя.

За сорок восемь лет.

Она села с краю, у самой двери, где из тамбура тянуло холодом, и сидела прямо, держа сумку на коленях. Дверь то и дело хлопала, мужчины выходили курить, и всякий раз белые волосы у Люды шевелились от сквозняка.

Нина видела, что за столом рядом с Тоней пустует стул.

Она приподнялась, опёршись о край стола. Постояла немного. Потом села обратно и расправила на коленях салфетку.

Когда подавали горячее, Люда подвинула тарелку поближе к себе и придерживала её одной рукой, чтобы официантке было удобнее поставить блюдо. Нина зачем-то посмотрела на её пальцы. Суставы были крупные, кожа на костяшках красная, и обручального кольца не было. Раньше Люда носила кольцо, широкое, с узором по краю.

Куда оно делось, Нина не знала.

Свой конверт Люда отдала Серёже, а не Нине, хотя деньги собирала Нина и вся родня это знала.

Мелочь, конечно.

Нина взяла себе на заметку и эту мелочь.

Она продолжала смотреть в сторону Люды. Та сидела к ней почти спиной, и из-за белых волос был виден только край уха.

В девяносто третьем Нина держала в руках бумаги на Людину трёхкомнатную квартиру. Одну подпись она помнила до сих пор. Синяя шариковая ручка, сильный нажим, каждая буква проступала с обратной стороны листа.

Нина тогда перевернула бумагу, провела пальцем по выпуклым буквам, немного подумала и поставила свой штамп.

Всё было оформлено как положено.

Во всяком случае, бумаги потом приняли.

Сейчас она уже не могла бы сказать, зачем переворачивала тот лист. Сама подпись помнилась лучше, чем то, что она тогда подумала. Но это было давно, к Галине отношения не имело, и разбираться с этим на поминках было незачем.

К тому времени горячее почти доели. На скатерти возле Нины лежала бумажная салфетка с нарисованными ручкой цифрами: двадцать два, девятнадцать, три. Она записала их, пока ждали второе. Теперь салфетка мешала поставить чашку, и Нина сложила её и сунула в сумку.

Серёжа вернулся из коридора, сел рядом и потянулся за остывшим чаем.

— Ира-то что не приехала? — спросила Нина.

— Мы с Ирой шесть лет как развелись, тёть Нин.

Он сказал это спокойно, без обиды.

— Мама не говорила?

Галина ей тридцать три года ничего не говорила, кроме «здравствуй». Иногда ещё спрашивала, как здоровье, но ответа не дожидалась.

— Нет, — сказала Нина.

Сказала и сама удивилась. Серёжа кивнул, будто другого и не ждал.

— Дети-то с кем остались? — спросила она.

— У нас детей нет.

Больше Нина ни о чём не спрашивала.

Серёжа допил чай и посмотрел в сторону двери.

— Вон твоя тётя Люда сидит, — сказала Нина, — у двери. Поди поздоровайся, неудобно.

Серёжа посмотрел, куда она показала, и долго искал глазами.

— Это которая в белом? — спросил он. — Я думал, она из маминых соседок.

СУББОТА, 18 НОЯБРЯ, 13:45 — ОКСАНА, ОФИЦИАНТКА

Поминки Оксана любила больше свадеб, хотя никому бы в этом не призналась. На свадьбах били посуду, лезли танцевать на столы и к вечеру обязательно дрались. На поминках сидели тихо, пили мало и расходились к четырём.

Чаевых на поминках не оставляли совсем. Зато забирали со столов всё, до последнего блина, и мыть за ними было легко.

За девять лет во «Встрече» Оксана научилась по столу после поминок понимать про покойника больше, чем говорили в тостах. Если лапшу доедали, а водку оставляли, человека жалели. Если наоборот, значит, отмучился. Если кутью никто не трогал, хоронили по обязанности.

Сегодня кутью ела одна толстая женщина в лисьей шапке. Шапку она так и не сняла и показывала соседке в телефоне внуков.

Во главе стола сидел мужчина лет пятидесяти в хорошей куртке. Куртку он тоже не снял. Он почти всё время выходил с телефоном в коридор, а за столом говорил «да-да, конечно», хотя к нему никто не обращался. Один раз он спросил у Оксаны пароль от вайфая. Больше он ничего у неё не спрашивал.

Рядом с ним командовала маленькая старуха с начёсом, как у завуча. Она трижды напомнила Оксане про контейнеры и один раз пересчитала бутылки, трогая каждую пальцем. Потом что-то записала ручкой на бумажной салфетке.

Батюшка был совсем молодой, с рыжеватой бородкой. Он выпил одну рюмку, съел ровно половину лапши и ушёл. В дверях он сказал в телефон обычным голосом: «Всё, еду, ставь чайник».

Остальные были соседки и какие-то двоюродные. Все похожие друг на друга, как бывают похожи люди с одной улицы.

И была одна в светлом пальто, у двери.

Оксана её заметила, потому что та единственная попросила вместо компота чай. И единственная сказала спасибо, когда Оксана поставила перед ней лапшу. Пальто она не сняла. Сумку держала на коленях и ни разу не поставила на пол. Так сидят в больничных коридорах и в кабинетах, куда вызвали повесткой.

Оксана знала эту посадку. Так сидела её мама в Белгороде, в очереди к онкологу, и Оксана три года сидела рядом.

Блины передавали по столу из рук в руки. До двери блюдо не дошло. Его остановили за два места до женщины в пальто, поставили, и больше никто его не тронул.

Оксана сначала решила, что это случайно. Потом увидела, как старуха с начёсом смотрит в ту сторону.

Она взяла чистую тарелку, положила четыре блина и отнесла к двери.

Женщина подняла глаза. Глаза были сухие и покрасневшие по краям, будто плакала она не сегодня, а давно.

— Ой, ну что вы, не надо, — сказала она.

И съела два. Каждый свернула конвертиком.

Потом она долго писала что-то в телефоне. Оксана собирала тарелки и видела через плечо: писала длинно, стирала, писала снова. В конце осталось одно слово. Женщина его отправила и ещё минут пять держала телефон экраном вверх.

Ничего не пришло.

Когда гости поднялись, у Оксаны оставались три нетронутые порции с края стола. Она сложила их в контейнеры и отдала женщине в светлом пальто.

— Так положено, — сказала Оксана. — За счёт заведения.

Ничего такого положено не было.

Женщина взяла пакет не сразу. Потом держала его двумя руками.

Старуха с начёсом потом искала свои контейнеры по всей кухне. Администратору даже пришлось отдать ей половину вчерашнего торта.

СУББОТА, 18 НОЯБРЯ, 14:40 — ЛЮДА

На поминки Люда пошла, потому что не прийти было бы заметнее, чем прийти и промолчать весь вечер. Город был маленький. Все, кто сегодня сидел за буквой «Т», помнили, кто с кем не разговаривает и с какого года.

Люда давно перестала надеяться, что они это забудут. Надеялась только, что им надоест.

Пальто на ней было светлое, песочное, и Люда знала, что на него смотрят. Тёмное у неё тоже было, хорошее, драповое. В нём она ездила к Игорю в колонию, три часа на автобусе в одну сторону. Тёмное пальто пропахло хлоркой и табаком комнаты свиданий.

К сестре на похороны она его не надела.

Волосы Люда красила раз в месяц, в ванной, сама, самой дешёвой краской из «Магнита». Если бы перестала, в Красном Яре сказали бы: ну вот, и Люда сдалась.

Пусть лучше смеются.

Про петельку у вешалки она сказала, не успев подумать. Нина ответила: «Знаю». Петелька висела так с прошлой зимы. Люда видела её ещё на рынке, в мясном ряду, когда стояла в очереди за Ниной через двух человек.

Живой Галину она в последний раз застала в августе, в «Магните», у холодильника с молоком. Сестра стояла с тележкой. В тележке лежали кефир, батон и кошачий корм. Галина долго выбирала творог, переворачивала пачки и щурилась на даты.

Люда постояла за стеллажом с крупами, пока Галина не ушла к кассе.

Подойти она могла. Но подойти значило что-то сказать, а что говорят через сорок восемь лет у холодильника с молоком, Люда не знала. Галина, наверное, тоже не знала. Так они обе спокойно завершили свои покупки.

Тогда Люда ещё удивилась кошачьему корму. Галина всю жизнь не терпела кошек. Сегодня на кладбище кто-то спросил, куда теперь девать старую рыжую кошку с Садовой.

Никто не ответил.

Денису она написала ещё в четверг, когда позвонили из больницы: «Тётя Галя умерла». Сообщение дошло и висело непрочитанным.

Сегодня за столом она написала снова. Длинно: что похоронили, что батюшка хороший, что Серёжа приехал из Воронежа и сильно постарел. Потом всё стёрла и оставила одно слово: «Похоронили».

Денис читал её сообщения раз в месяц или реже. Никогда не отвечал, но и не блокировал. Люда научилась считать это разговором. Одна серая галочка значила «не сейчас». Две синие значили «прочитал».

Больше в этом разговоре ничего не было.

— А твой-то где? — спросила соседка по столу, Тоня Белова. Когда-то они вместе стояли за прилавком в продмаге. — Младший?

— В Москве, — сказала Люда. — Работает. Программист. Отпустить не смогли.

Это было почти правдой. Денис действительно жил в Москве и действительно сидел за компьютером. Она видела фотографию у него на странице.

Про старшего Тоня не спросила. Про старшего в Красном Яре не спрашивал никто, все и так знали, где Игорь и на сколько. В среду Люда отправила ему посылку: два блока сигарет, тёплые носки, сгущёнку. На почте долго сверяли вес. Игорь писал ей, только когда надо было положить денег на ларёк, и письма начинал словом «мать».

Письма Игоря Люда складывала в коробку из-под зимних сапог. От Дениса складывать было нечего.

Тоня за тридцать лет не изменилась ни в чём, кроме веса. Так же говорила «ты представляешь», так же облизывала ложку и так же узнавала всё раньше всех, хотя последние десять

лет дальше рынка не ходила. Новости она передавала дальше, не добавляя от себя ни слова. Сердиться на неё было невозможно.

Тоня ела кутью и рассказывала про внуков. Люда кивала и смотрела в другой конец стола, туда, где сидела Нина.

Последний раз они сидели за одним столом втроём тоже на поминках матери, в августе девяностого. Теперь одна лежала под свежим холмом, а две сидели по разные концы стола.

Тот вечер Люда помнила хуже, чем хотела бы. Помнила жару, мух над холодцом. Галину во главе стола, в материном платке, как будто уже хозяйку. И мокрое пятно на стуле, с которого поднялся её муж.

Больше от того вечера почти ничего не осталось. А пятно осталось. Иногда по ночам Люда видела его так ясно, словно стул стоял у неё в спальне.

— А Мельников-то твой живой ещё, — сказала Тоня и облизала ложку. — Мой сват в Сухой Балке видал. Всё стиралки чинит, ты представляешь? Восьмой десяток человеку.

— Он не мой, — сказала Люда.

Тоня посмотрела на неё удивлённо, будто Люда сказала что-то неприличное, и заговорила про внуков дальше.

Под столом Люда потёрла большим пальцем безымянный. Кольца там не было с девяносто четвёртого.

Домой Люда пошла пешком, через площадь, мимо бывшего дома быта. Теперь там продавали разливное пиво и вейпы. Пакет с контейнерами оттягивал руку.

Трёхкомнатная квартира на Ленина встретила её запахом пустоты и старых обоев. Две комнаты Люда закрыла ещё позапрошлой зимой, чтобы не топить зря. Жила в кухне и в бывшей детской, Денисовой, где стоял телевизор.

На косяке детской, на уровне её лба, до сих пор была глубокая черта и печатные буквы: «ИГОРЬ». Процарапано ножом. Карандашные чёрточки Дениса под ней Люда когда-то стёрла тряпкой, когда мыла косяки к Пасхе. Сама не заметила как.

Эта не стиралась.

Блины она убрала в холодильник, лапшу оставила на завтра. Если не жадничать, еды хватит до среды.

Потом села у окна и подумала про дом на Садовой. Серёжа продаст его до Нового года. Это было видно по тому, как он не снимал куртку. Миллион двести, не больше: дом старый, газ не подведён, наличники облезли.

Люда посчитала в уме, как когда-то считала сдачу, не глядя на счёты. За этот дом сёстры воевали тридцать три года. Выходило по тридцать шесть тысяч за каждый год.

Дёшево, подумала Люда и пошла ставить чайник.